

	Стр.
Отъ редакціи . . . . .	3
Федоръ Сологубъ. Простыя пѣсенки. 2 стих. . . . .	5
Бор. Зайцевъ. Молодые . . . . .	6
К. Бальмонтъ. Изъ книги „Жарь-Птица“. 3 стих.— . . . . .	8
Н. Минскій. Идея русской революціи . . . . .	11
Сергѣй Кречетовъ. 2 стихотворенія . . . . .	23
Осипъ Дымовъ. Осень . . . . .	24
Алексѣй Боровой. Этическая цѣнность революціоннаго міросозерцанія. . . . .	28
В. Зоргенфрей. Сентябрь. Стих. . . . .	34
Алексѣй Ремизовъ. Безъ пяти минутъ баринъ . . . . .	—
Taciturno. Принципы и пути возрожденія . . . . .	36
Федоръ Сологубъ. О недописанной книгѣ . . . . .	40
Мизгирь. Письма о музыкѣ. I. О комической оперѣ . . . . .	42
Бор. Зайцевъ и Александръ Койранскій. „Горе отъ ума“ на сценѣ Художественнаго театра . . . . .	46
Изъ жизни . . . . .	48

	Стр.
Библиографія:	
Ирина Петровская. С. Шибышевскій. Зауспокойная месса . . . . .	49
Владиславъ Ходасевичъ. X и XI сб. „Знанія“ . . . . .	50
Ал. Бл. Tristia. Переводъ И. Тхоржевскаго . . . . .	53
Его же. А. Г. Горняфельдъ. Муки слова . . . . .	—
С. Соловьевъ. Зинаида Гиппиусъ. Алый мечъ . . . . .	—
А. Печковскій. О. Уайльдъ. Портретъ Доріана Грэя . . . . .	55
Taciturno. П. Кропоткинъ. Записки революціонера. Рѣчи бунтовщика . . . . .	—
Alexander. M. Метерлинкъ. Сочиненія. Т. I. . . . .	56
Ник. Поярковъ. Гюисмансъ. Наоборотъ . . . . .	57
Азраилъ. А. Курсинскій. Сквозь призму души . . . . .	—
Obliviscenda :	
А. Бачинскій. Н. Шинскій. Исповѣдь . . . . .	58
С. Корнъ. Оленинъ. Какъ онъ жилъ . . . . .	—
Опилки . . . . .	59
Письмо въ редакцію . . . . .	—

## ИДЕЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Каждая революція имѣтъ не только свою собственную лѣтопись, но и свою психологію, свою внутреннюю идею, соединяющую всѣ ея эпизоды въ одно стройное цѣлое, подобно тому, какъ художественная идея смыкаетъ въ одно цѣлое всѣ эпизоды драмы. Но извѣстно, что актеры, разыгрывающіе пьесу, очень мало заботятся объ ея идеѣ, и въ большинствѣ случаевъ даже всей пьесы не читаютъ, довольствуясь—каждый своей тетрадкой, въ которой написана его роль и послѣднія слова чужихъ репликъ. Подобно имъ, и всѣ мы, современники и участники великой русской революціи, наибольшее значеніе придаемъ каждый своей роли въ общемъ движеніи, своей программѣ, своему партійному дѣлу, мало заботясь о философскомъ смыслѣ всѣхъ переживаемыхъ событій въ ихъ цѣломъ, объ ихъ исторической идеѣ. Между тѣмъ, сознательное отношеніе къ этой идеѣ имѣло бы для всѣхъ насъ не только теоретическое, но и громадное практическое значеніе, ибо помогло бы намъ яснѣе увидѣть будущее направленіе событій, избавило бы насъ отъ бесполезной траты силъ и даже, быть можетъ, отъ ненужной взаимной борьбы.

Съ тѣмъ, что каждая революція имѣтъ не только свою лѣтопись, но и свою психологію, вы, вѣроятно, согласитесь безъ возраженій. Сравнимъ хотя бы переживаемую нами революцію со столь похожей на нее во многихъ отношеніяхъ великой французской, и на ряду съ чертами сходства намъ сразу бросятся въ глаза черты такого глубокаго различія, которыя могутъ быть объяснены только изнутри, а не внѣшнимъ случаемъ. Такъ, французская рево-

люція вся насквозь была пропитана духомъ патриотизма и воинственнаго воодушевленія, между тѣмъ, какъ русская революція насквозь антипатріотична, антивоинственна. Знаменитая сцена вербовки волонтеровъ въ Парижѣ—яркая иллюстрація къ психологіи французской революціи, въ которой страннымъ, для насъ непонятнымъ образомъ переплелись любовь къ свободѣ и духъ цезаризма, сознание всемірнаго братства народовъ и умиленіе предъ славой французскаго оружія, предъ всѣми эмблемами и побрякушками оффиціальной государственности. Въ сознаніи французскихъ революціонеровъ права человѣка еще не были отдѣлены отъ правъ гражданина, хотя съ нашей, современно революціонной точки зрѣнія кличка «citoyen», привязывающая личность къ опредѣленной cité, къ условному государству и его механизму, кажется такой же унижительной и рабской, какъ кличка «sujet», которую она замѣнила. Даже въ знаменитой Марсельезѣ многіе стихи кажутся намъ болѣе достойными бравой солдатской пѣсни, чѣмъ революціоннаго гимна, и, во всякомъ случаѣ, первый стихъ, призывъ «Aux armes, citoyens!» у насъ теперь былъ бы умѣстенъ въ устахъ хоругвеносцевъ, но никакъ не революціонеровъ.

Не слѣдуетъ, конечно, забывать, что патриотическій задоръ революціонной Франціи поддерживался тѣмъ обстоятельствомъ, что внѣшній врагъ, грозившій цѣлости государства, былъ, главнымъ образомъ, врагомъ революціонной свободы. Однако корни этого патриотизма скрывались гораздо глубже, и молодая республика, которой уже не грозилъ внѣшній врагъ, сама занялась авантюрой военныхъ походовъ.

Вотъ еще одна черта различія между обоими движеніями. Паѳосомъ французской революціи была ненависть къ аристократіи, къ родовой знати, чувство, почти неизвѣстное революціи русской, воодушевленной ненавистью къ бюрократіи и поли-

ции. Можно было бы привести не мало примѣровъ изъ истории революціи другихъ странъ. Вотъ одинъ изъ нихъ, наиболѣе яркій.

Въ разгарѣ мартовской революціи, два дня спустя послѣ столкновения войскъ съ жителями Берлина, Фридрихъ Вильгельмъ, желая отвлечь народъ отъ революціонныхъ чувствъ въ сторону германскаго патріотизма, явился во главѣ процессіи съ трехцвѣтнымъ, столь дорогимъ нѣмецкимъ патріотамъ, знаменемъ въ рукахъ. И что же? Эта прогулка достигла цѣли. Жители Берлина устроили овацши королю и даже привѣтствовали его императоромъ. Теперь вообразите на мгновение, что нѣчто подобное происходитъ у насъ, и вы сразу увидите, какая бездна отдѣляетъ психологию и мотивы нѣмецкой революціи 1848 года и нашей теперешней.

Нѣмецкая свобода, прогуливавшаяся подъ трехцвѣтнымъ знаменемъ германскаго единства, должна была неминуемо угодить въ желѣзныя объятія Бисмарка, равно какъ французская революція отправившись въ путь съ пѣсней: „Allons, enfants de la patrie“, неминуемо должна была придти въ объятія къ „père de la patrie“, къ новому цезарю. Ни та, ни другая опасность не угрожаетъ, кажется, нашей революціи, какова бы ни была ея судьба.

Всѣ эти и подобные примѣры наглядно показываютъ, что каждая революція имѣетъ свои индивидуальныя черты, свою психологию. Но для того, чтобы эти черты не казались случайными, мы должны раскрыть внутреннюю сущность революціоннаго движенія, его историческую идею, основной мотивъ движенія,—то, что можно назвать первопричиною революціи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ея конечной цѣлью. Только сдѣлать это нелегко,—по той причинѣ, что идея каждой революціи находится въ неразрывной связи съ идеей предшествующей ей эволюціи, того мирнаго развитія,

которое привело къ перевороту. Революція неизбежно наступаетъ въ исторіи народа лишь тогда, когда эта исторія пришла къ внутреннему противорѣчію. Не зная идеи этой исторіи, мы не поймемъ наступившаго противорѣчія. Революція въ этомъ отношеніи похожа на водопадъ, который образуется тогда, когда мирно текущія воды подошли къ обрыву и, не умѣя течь назадъ, должны низринуться всплывшимъ потокомъ. Обширность и сила водопада опредѣляется предшествующими данными, многоводностью рѣки, наклономъ русла, шириной устья. Такъ же неизбежно наступаетъ революція, когда исторія народа выродилась во внутреннее противорѣчіе, и такъ же неразрывна связь между силой революціи и глубиной этого противорѣчія. Возвращаясь къ нашей темѣ, мы видимъ, что для опредѣленія идеи русской революціи необходимо заранѣе опредѣлить идею русской исторіи, уяснить то внутреннее противорѣчіе, къ которому привелъ весь ходъ нашей исторической жизни и которое разрѣшилось революціоннымъ потокомъ. Задача наша, такимъ образомъ, страшно осложняется и затрудняется, такъ что разрѣшить ее мы въ состояніи только въ самыхъ общихъ, намекающихъ чертахъ.

Русская революція въ такой же мѣрѣ отличается отъ революціи европейскихъ народовъ, въ какой русская исторія отлична отъ исторической жизни остальной Европы. Основнымъ факторомъ европейской исторіи была развивающаяся личность, основнымъ ея мотивомъ—борьба за существованіе и власть. Историческій процессъ въ Европѣ заключался въ постоянномъ столкновении личностей, отдѣльных или, для большей силы, объединенныхъ въ сословія и классы, и въ этомъ столкновении, подобно прибрежнымъ валунамъ въ прибоѣ, личность шлифовалась, дифференцировалась, самоопредѣлялась. Въ Россіи, наоборотъ, весь историческій процессъ сводился къ обезцвѣченію, ума-

ленію личности, сліянію всѣхъ въ однородную государственную массу, въ громаднаго полипняка, вооруженнаго военными челюстями и чпновничьими когтями.

Поэтому европейская революція не была отрицаніемъ предшествующаго историческаго процесса, а лишь его видоизмѣненіемъ, перемѣщеніемъ центра тяжести изъ одного сословія въ другое, съ сохраненіемъ основнаго мотива жизни: развитія творческой личности и борьбы за власть. Русская же революція является полнымъ отрицаніемъ всего нашего государственнаго процесса, и можно сказать, что это—первый случай коренной ломки столь громаднаго многовѣковаго зданія. Во всемірной исторіи среди другихъ переворотовъ наша революція—то же, что Ніагара среди другихъ водопадовъ.

Чѣмъ объясняется такое различіе въ направленіи судебъ Европы и Россіи? Почему личность, эта живая творческая клѣтка европейской культуры, у насъ такъ рано обезсилѣла и обмерла? Это—одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, которые историкъ будетъ вѣчно ставить себѣ, не находя опредѣленнаго отвѣта, такъ какъ исторія человѣчества совершается однажды и экспериментальной провѣркѣ не подлежитъ. Можетъ быть, существуютъ какіе-то вѣчные типы и для народныхъ организмовъ, какъ для отдѣльныхъ людей. Можетъ быть, судьба народа зависитъ отъ условій среды, въ которыхъ онъ живетъ. Изъ всѣхъ такихъ условій наиболее очевидными по своимъ результатамъ кажутся намъ условія географическія. Человѣческая личность, для того, чтобы начался ростъ заложенныхъ въ ней культурныхъ силъ, нуждается въ нѣкоторой безопасности, во временной защитѣ отъ разрушительнаго дѣйствія внѣшнихъ враждебныхъ силъ, подобно тому, какъ ростокъ нѣжнаго цвѣтка нуждается на время въ прикрытіи отъ рѣзкихъ атмосферическихъ перемѣнъ. Эту защиту отъ вра-

ждебныхъ силъ даютъ личности естественныя границы—воды морскія и рѣчныя, горные хребты. Почувствовавъ себя въ безопасности, личность немедленно начинаетъ расти и крѣпнуть, добывать орудія для защиты и борьбы. Вотъ почему въ странахъ, расположенныхъ на островахъ и полуостровахъ, и лучше всего защищенныхъ отъ внѣшнихъ нападений, въ Англии, въ древней Греціи, въ Италіи и въ Японіи—всего раньше начался процессъ самоопредѣленія личности, всего пышнѣе расцвѣла культура, всего раньше добыта была свобода, которая есть не что иное, какъ равнодѣйствующая многихъ личныхъ самосознаній. Въ мѣстностяхъ гористыхъ совершался такой же процессъ, хотя слабѣе и медленнѣе. На какой страницѣ вы ни раскроете исторію любого европейскаго народа, вы прочтете повѣсть о борьбѣ личностей, союзовъ, сословій. Исторія Европы—сплошной турниръ, сначала между церковью и государствомъ, затѣмъ феодальныхъ владѣльцевъ между собою, потомъ городского сословія противъ дворянства и духовенства и, наконецъ, въ наши дни рабочаго класса противъ капиталистовъ. Первая борьба между императорами и папами была особенно благотѣльна для культуры.

Къ счастью для Европы, церковь поступала вопреки слову Евангелія, монахи дѣйствовали вопреки обѣтамъ нищеты и смиренія, искали власти и вступали въ борьбу съ государствомъ изъ-за власти. Это столкновеніе родило самыя яркія искры средневѣковой мысли. Оба меча, духовной и свѣтской власти, не ржавѣли, а постоянно сшибаясь, острились одинъ о другой. Монастыри превращались въ такія же твердыни индивидуальнаго самосознанія и гордости, какъ и замки; въ духовныхъ орденахъ личность пріобрѣтала такой же закалъ, какъ и въ рыцарствѣ. Закалъ же личности означаетъ не что иное, какъ ея способность къ культурному творчеству, къ созиданію предметовъ,

знаній, формъ общежитія, всего того, что мы обнимаемъ общимъ опредѣленіемъ: «культура». Борясь между собой, церковь и государство побуждали другъ друга къ культурному творчеству: церковь—орудіемъ теологій и схоластической науки, рыцарство—исканіемъ высшихъ формъ общежитія. Иногда церковь и государство мирились между собой, и въ этихъ пунктахъ касанія возникали такія чудеса культуры, какъ поэзія Данте, какъ живопись Боттичелли. Въ то же время личность гранилась и закалялась во внутренней борьбѣ феодаловъ между собой, въ ихъ непрерывныхъ турнирахъ, состязаніяхъ, набѣгахъ и войнахъ. Когда вы проѣзжаете по средней и южной Европѣ и видите развалины рыцарскихъ замковъ на вершинѣ холмовъ, знайте, что эти холмы—истинные фундаменты нашей современной культуры. Только благодаря этимъ естественнымъ твердынямъ, могла окрѣпнуть личность рыцаря, а подъ угрозой его меча закалилась личность горожанина и мѣщанина. Горе дѣлало слабого сильнымъ, сила же рождала силу. По образцу рыцарскихъ твердынь на вершинахъ холмовъ, стали возникать укрѣпленія на равнинѣ, вокругъ городовъ. По образцу рыцарскаго ордена, и ремесленники сплачивались въ корпораціи и цехи—для защиты противъ феодальнаго владыки и для борьбы съ нимъ. Подъ прикрытіемъ же городскихъ стѣнъ выросла настоящая, уже не схоластическая, а опытная наука, и родилась новая гражданственность и свобода.

Мы знаемъ всѣ, какую роль сыграли городскія общины въ борьбѣ между баронами и королемъ, бывшимъ такимъ же барономъ, какъ другіе, только болѣе сильнымъ. Лишь при помощи городскихъ общинъ, т. е. будущаго третьяго сословія, королевскому дому удалось сосредоточить въ своихъ рукахъ власть. Такимъ образомъ возникъ монархизмъ, съ ореоломъ внѣшняго всемогущества, но внутренне неустойчивый, такъ какъ онъ таилъ въ себѣ не-

разрѣшимое противорѣчіе. Короли достигли власти при помощи третьяго сословія, а достигнувъ ея, отдѣлили себя отъ народа стѣной придворной знати и провинціальной аристократіи, которымъ и передали власть надъ городомъ и деревней. Выходило, что городскія общины сами себя ограбили и наказали. Когда это противорѣчіе раскрылось народному сознанию, революція должна была вспыхнуть и королевская власть исчезнуть. Но революція несколько не коснулась принципа государственности. Новое революціонное вино было влито въ старыя псевдо-классическія мѣха централизаціи, военной славы и національнаго шовинизма. Революція не только не препятствовала, но еще способствовала государственному процессу, напримѣръ, въ Германіи и Италіи, гдѣ борьба за свободу была однимъ изъ стимуловъ національнаго объединенія и образованія новыхъ обширныхъ государствъ изъ прежнихъ мелкихъ. Даже такой борецъ за свободу, какъ Гарибальди, находился подъ обаяніемъ идеи государственнаго единства, и на привѣтствіе толпы отвѣчалъ, поднявъ палецъ: Упа! Единная Италія! Революція, парламентаризмъ, республика,—все это разные этапы на одномъ пути, разныя воплощенія одного и того же начала: культурно—творческой, борющейся за власть личности.

Ничего подобнаго не было у насъ въ Россіи. Изъ всѣхъ странъ Европы Россія—единственная, въ которой личность была не творцомъ, а жертвой государственнаго развитія, можетъ быть, потому, что она больше другихъ была удалена отъ морей и лишена горъ. Отсутствие естественныхъ границъ—вотъ нашъ тысячелѣтній недугъ, исканіе границъ—вотъ нашъ тысячелѣтній кошмаръ. Лишенная естественныхъ границъ, личность не чувствовала себя въ безопасности, не начинала расти и развиваться. Еще въ началѣ, когда центръ русской исторіи сталъ складываться на окраинахъ,

въ Новгородѣ, въ Кіевѣ, личность какъ будто просыпается для жизни, а вмѣстѣ съ нею даютъ первые ростки культура и гражданственность. Но по мѣрѣ того, какъ этотъ центръ передвигается въ необъятную русскую равнину, поближе къ Москвѣ, отсутствіе естественныхъ границъ становится рокомъ и проклятіемъ всего народа. Некогда было сосредоточиться, отдохнуть, начать жить для себя. Надо было постоянно ждать не нападенія, нашествія, набѣга опредѣленнаго сосѣда, который изощряютъ и поддерживаютъ собственную энергію, а нападенія, невѣдомо кого и невѣдомо откуда, разрушительнаго, обезсиливающаго разлива враждебной стихіи. Со всѣхъ сторонъ открыты горизонты, вѣчное стояніе на распутии ста дорогъ. Въ особенности роковое значеніе для народной психологіи имѣло татарское нашествіе и не столько по матеріальнымъ, сколько по нравственнымъ послѣдствіямъ. Татары, въ сущности, мало вмѣшались во внутреннюю жизнь народа, довольствуясь данью и внѣшними знаками покорности. Но воображеніе народа было навсегда потрясено, парализовано испугомъ. Вся Россія, какъ одинъ человекъ, сознала ужасъ своей судьбы; для всѣхъ стала очевидной невозможность культурнаго строительства. Нельзя воздвигать зданіе среди Сахары, подъ угрозой песчаныхъ урагановъ со всѣхъ сторонъ. Нельзя закладывать фундаментъ на морскомъ днѣ, на время обнаженномъ въ часы отлива и вскорѣ опять затопляемомъ волнами. При отсутствіи границъ, эта песчаная степь, этотъ враждебный океанъ грозилъ Россіи со всѣхъ сторонъ: они были вездѣ и нигдѣ.

Врагомъ русской земли стала сама земля, ея „величіе и изобиліе“, безкрайность, безграницность, отсутствіе границъ. Мать своимъ тѣломъ навалилась на собственное дитя, грозя его задушить. Первое дѣло культуры, прокладываніе дорогъ, связываніе своего роднаго угла со всей

страною въ одно живое цѣлое, стало невозможнымъ въ московской Руси. Равнина и безъ того обманываетъ своего жителя мнимой легкостью сообщеній. Зачѣмъ строить дороги, когда земля сама стелется скатертью, какъ дорога? Но, помимо этого, прокладывать дороги казалось опаснымъ, ибо ими можетъ воспользоваться «ворогъ», непріятельская орда. При отсутствіи же дорогъ весенняя и осенняя распутица прерывали на цѣлые мѣсяцы общеніе между людьми. Отсутствіе границъ вело къ бездорожью, бездорожье къ безлюдью, а безлюдье къ отсутствію внутренней шлифовки, которую даетъ личности борьба за превосходство, за власть, даже грубая борьба за блага жизни, конкуренція. Отсутствіе этой борьбы привело къ уменьшенію личной энергіи, къ усыпленію потребностей, къ заспанности, къ обезличенію.

Но отсутствіе естественныхъ границъ имѣло для насъ еще болѣе роковыя послѣдствія. Оно было причиной того, что исторія Россіи превратилась въ процессъ собиранія земли и созиданія единаго государства, которое не стояло бы на распутии ста дорогъ, а упиралось бы въ моря и горы, которое не боялось бы нашествія дикихъ ордъ, а само покорило бы всѣ народы и племена, живущіе въ предѣлахъ этихъ горъ и морей. Дѣйствительно ли необходимо для бытія Россіи былъ этотъ процессъ собиранія и покоренія или нѣтъ, рѣшить нелегко. Важно то, что необходимость эту признавалъ въ свое время весь русскій народъ, отъ князя до землепашца, отъ воина до священника. Всѣ равно вѣрили, что собираніе земли отъ моря до моря въ единое государство и защита этого государства составляютъ не только самое жизненное, но единственно жизненное дѣло всякаго гражданина. Подъ влияніемъ этой вѣры русская личность уже не по принужденію, а добровольно отказалась отъ своего первородства въ пользу государства, довольствовалась ми-

нимумомъ радостей, поступила въ рабство къ тому, кто казался ей представителемъ государственной цѣлости,—къ князю и его ставленникамъ. Вотъ основное различіе русскаго государства отъ всей остальной Европы. Въ Европѣ государство являлось функцией личности: величина и сила государства находились въ зависимости отъ количества жителей и ихъ индивидуальной мощи. Въ Россіи, наоборотъ, государство являлось врагомъ и отрицаніемъ личности. Россія росла, но не такъ, какъ растетъ здоровое тѣло: отъ развитія мускуловъ и обилія крови. Россія росла, какъ пухнетъ тѣло отъ голода, какъ расширяются ткани отъ худосочія. Чѣмъ обширнѣе становилось государство, тѣмъ хилѣе становилась личность, тѣмъ бѣднѣе становилась кровь въ жилахъ государства. А такъ какъ культура создается только личностью и только въ борьбѣ за гегемонію и власть, то не удивительно, что всѣ сословія прозябали у насъ внѣ культуры, въ потемкахъ одичанія. Этотъ мракъ нельзя даже объяснить тѣмъ, что Россія лежала вдали отъ очага культуры. Съ принятіемъ изъ Византіи греческой вѣры, Россія вошла въ соприкосновеніе съ античнымъ міромъ, но вслѣдствіе захуданія личности не въ силахъ была развитъ въ себѣ принятое извнѣ сѣмя. Вотъ одинъ изъ многихъ примѣровъ, не изъ самыхъ значительныхъ. Въ X вѣкѣ тѣ же самые византійскіе мозаичисты, которые украшали церкви во Флоренціи и Венеціи, работали также и въ Киевѣ. И что же мы видимъ? Въ Италіи византійская мозаика принесла плоды: подъ ея вліяніемъ выросло самобытное искусство Чимабуэ, потомъ Джотто, до великихъ художниковъ Возрожденія. Въ Россіи зерно заглохло и не дало ростковъ. Личности талантливая и геніальныя возникали среди народа, но отцвѣтали, не расцвѣтши, и правъ былъ О. Буслаевъ, говоря, что „однообразіе и неразвитость религіознаго, полу-византійскаго стиля разныхъ по-

шибовъ русской иконописи вполне соответствуютъ такому-же коснѣнію древней Руси до XII столѣтія и въ литературномъ, и вообще въ умственномъ отношеніи“. Вотъ почему въ то время, когда стѣны сикстинской капеллы покрывались безсмертными фресками, московскіе князья, занятые собираніемъ земли, жили въ деревянныхъ хоромахъ-избахъ и воздвигали при помощи выписанныхъ мастеровъ храмы въ чужомъ стилѣ съ причудливыми куполами въ формѣ дынь и огурцовъ.

Наше духовенство, въ отличіе отъ европейскаго, со свѣтской властью не состязалось, а, подобно другимъ сословіямъ, самовольно уступало свои прерогативы князю во имя собиранія земли. Въ великіе моменты этого собиранія русскіе святители, какъ Сергій Радонежскій, становятся почти оруженосцами князя. Въ остальное время они прозябаютъ въ тѣни своихъ монастырей, безъ библиотекъ и картинъ, не занимаясь ни теологіей, ни свѣтской наукой, внѣ борьбы, внѣ власти. Церковь учительская занималась тѣмъ, что внушала своей паствѣ подчиняться властямъ предержавшимъ и свидѣтельствовала передъ народомъ о божественномъ происхожденіи власти. Церковь подвижническая освящала и оправдывала то умаленіе личности, надъ которымъ работали солдаты и чиновники, и народъ тысячами посѣщалъ обители этихъ подвижниковъ, ища какого-нибудь оправданія для своего собственнаго историческаго подвига. Церковная проповѣдь смиренія и святительскій примѣръ смиренія еще рѣзче опредѣлили сложившуюся подъ вліяніемъ многовѣковой исторіи столь необычайную, столь непонятную для европейца, двойственную, двухполярную психологію русскаго крестьянства. На одномъ полюсѣ, обращенномъ къ государству, къ отысканію и охраненію его границъ,—безпримѣрное самопожертвованіе и энергія, на другомъ полюсѣ, обращенномъ къ своей собственной личности,—

столь же безпримѣрная апатія и нетребовательность. Лучшій воинъ въ мѣрѣ и худшій въ мѣрѣ земледѣлецъ—русскій народъ мирился съ такимъ позоромъ рабства, полицейскаго кнута и помѣщичьихъ розогъ, съ такой нищетой и грязью, съ коими почти несомѣстимо сознание человѣческаго образа. Но велика была вѣра народа въ призракъ государственной цѣлости, такъ велика, что мысль о цѣльной счастливой личности казалась ему грѣхомъ, почти преступленіемъ, посягательствомъ на единство государства. Въ своемъ деревенскомъ быту, куда невѣжественная княжеская власть не вмѣшивалась, народъ устраивался такъ, что личность стиралась въ мѣрѣ и общинѣ, а не развивалась въ нихъ. Даже тогда, когда, не выдержавъ тройнаго гнета: государства, помѣщика и деревенскаго міра,—возмущенная личность протестовала и бѣжала за волей въ широкую степь, даже тогда, уже совершенно добровольно, она все же продолжала прежній подвигъ, становилась на стражъ границъ государства (днѣпровское казачество), или искало новыхъ границъ (казачество уральское). Изъ всѣхъ сословій крестьянство больше другихъ пострадало отъ кошмара государственнаго единства въ матеріальномъ отношеніи и меньше другихъ—въ нравственномъ. Умаленіе личности отзывалось на крестьянствѣ только страданіями и жертвами, а жертва, на какой бы алтарь она ни была принесена, всегда очищаетъ. Вотъ почему слѣды культурнаго творчества въ московской Руси встрѣчаются только въ крестьянской массѣ. Такъ называемый „русскій стиль“ былъ созданъ только въ деревнѣ, русская пѣсня выросла только въ крестьянствѣ, былины сохранились только въ мужицкомъ быту. Любопытная черта: во всѣхъ страхахъ простой народъ говоритъ на испорченномъ «patois», чистый-же языкъ составляетъ преимущество привилегированныхъ сословій; у насъ, наоборотъ, чистая великорус-

ская рѣчь сохранилась только въ народной средѣ, и Пушкинъ учился языку у своей крестьянки-няни. Можно принять, какъ законъ, что, чѣмъ выше какое-либо сословіе стояло у насъ въ государственномъ рангѣ, тѣмъ ниже оно стояло въ отношеніи культуры.

Во всякомъ случаѣ, нѣтъ сомнѣнія, что въ культурномъ отношеніи наше боярство и дворянство стояло гораздо ниже тѣхъ, кого прежде называли голю, а теперь называютъ боярами. Боярство московской Руси не выработало никакихъ формъ рыцарской культуры, не создало никакого стиля, не украсило общежитія никакимъ благородствомъ. Психологія боярства отличалась такою-же полярностью, какъ и психологія другихъ нашихъ сословій. Обращенный къ своей собственной личности, русскій дворянинъ проявлялъ такую-же апатію, неряшливость и лѣнь, какъ и крестьянинъ и мѣщанинъ. И бояринъ, подобно смерду, добровольно отрекался отъ своихъ личныхъ прерогативъ во имя того же идола государственнаго единства. Если смердь былъ холопомъ боярина, то бояринъ, въ свою очередь, былъ холопомъ князя и больше ничѣмъ. Культъ чести, *point d'honneur*, этотъ изысканнѣйшій цвѣтокъ рыцарской культуры, у насъ выродился въ мѣстничество,—въ споръ холоповъ о томъ, кому сидѣть ближе къ барину. Когда Лермонтовъ хотѣлъ воспѣть древне-русскаго рыцаря, онъ долженъ былъ искать своего героя не среди дворянъ, а среди купцовъ,—фактъ, съ европейской точки зрѣнія, непонятный.

Можетъ быть, въ европейскомъ смыслѣ, родового дворянства въ Россіи вовсе и не было. Оно замѣнялось личнымъ и потомственнымъ служилымъ сословіемъ, ибо дворянинъ былъ не только холопомъ князя, какъ личность, но еще помощникомъ князя, какъ защитникъ государственной цѣлости, какъ его намѣстникъ. Въ роли воина, на полѣ битвы, дворянинъ, бояринъ отличался такою же



беззавѣтной храбростью, какъ крестьяншииъ, но, къ несчастью, дворяншииъ былъ не только воиномъ, но и чиновникомъ. Тутъ раскрывается передъ нами самая мрачная страница русской исторіи. Чиновничья власть выросла въ Россіи внѣ движенія культуры, внѣ свѣта контроля, въ какихъ-то подвальныхъ потемкахъ, и весь процессъ ея роста—процессъ гнилостный, ядовитый, смертоносный. Рука, протянутая для взятки, и рука, сжатая въ кулакъ, — вотъ двѣ эмблемы двоякой дѣятельности русскаго служилаго сословія, чиновничьей и полицейской. На одномъ полюсѣ—лѣнтяій Обломовъ, на другомъ—насилыиикъ Сквозиикъ-Дмухановскій. Конечно, въ свое время и Европа знала бюрократическій и полицейскій режимъ. Но „полицейскимъ государствомъ“ въ Европѣ называлось такое, которое, не довольствуясь своей функцией—охранять свободу и безопасность личности, само вмѣшивалось въ частную дѣятельность гражданъ, регулируя и предписывая тамъ, гдѣ хозяйномъ жизни должна быть только личность. Никакихъ подобныхъ притязаній у русской государственной власти не было. Ея задача была и проще и зловреднѣе: мѣшать возникновенію какихъ бы то ни было личныхъ и общественныхъ центровъ. Внутренняя политика русскихъ властей въ теченіе многихъ столѣтій заключалась только въ томъ, чтобы вытравлять плодъ личнаго самосознанія. Гдѣ собиралось двое, тамъ между ними просовывался кулакъ власти, спѣша въ самомъ началѣ оборвать зарождающуюся гражданскую связь. Церковь, забывъ слово Христа, благословляла процессъ угашенія духа, а народъ, испуганный беззащитнымъ просторомъ и угрозой невѣдомыхъ нашествій, молчалъ. Надъ всѣмъ же этимъ жестокииъ и жалкииъ бредомъ возвышался бездумный и потому столь безжалостный Молохъ „Слова и Дѣла“, возвышался князь, окруженный дружиной и воплощавшииъ на дѣлѣ идею

русской исторіи. Вотъ эту идею и нужно ближе разглядѣть, если мы хотимъ понять изнутри смыслъ свершающейся теперь революціи.

Мы уже видѣли, что единственной задачей верховной власти въ Россіи было подавленіе чело- вѣческой личности въ интересахъ личности государственной, ради отысканія и защиты границъ. Но ради чего, во имя какой исторической идеи, во имя какой культурной миссіи совершалось это расширение границъ? Когда римскіе легіоны покоряли всѣ извѣстныя тогда племена, они вдохновлялись идеей „рах готана“, римскаго мира, который долженъ былъ охранять свѣточъ античной культуры отъ окружавшаго океана варварства. Наполеонъ, какъ нѣкогда Александръ Великій, побѣждалъ мечемъ только непріятельскія арміи; сердца же народовъ онъ прельщалъ надеждой новой свободы. Англія въ своихъ колоніальныхъ завоеваніяхъ вдохновлялась идеаломъ промышленной культуры, какъ теперь Германия, почувявъ свою промышленную силу, выступаетъ на путь міровой политики. Можно не одобрять завоевательной политики всѣхъ этихъ народовъ, но нельзя отрицать ея культурной идейности. И только въ завоеваніяхъ русскихъ князей мы не въ силахъ открыть слѣдовъ какой бы то ни было миссіи. Вся завоевательная исторія Россіи была сплошнымъ географическимъ эпизодомъ безъ всякаго историческаго содержанія. Зачѣмъ понадобилась Россіи Финляндія? На что ей нуженъ былъ Кавказъ? Во имя чего нужно было разгромить высшую сравнительно съ русской культурою Польши? Зачѣмъ нужна была Сибирь, этотъ огромный міръ, превращенный въ тюрьму? Зачѣмъ нужны были Сахалинъ, Приамурскій край? Какой культурной миссіей вдохновлялись славянофилы, когда мечтали о покореніи Константинополя и о водруженіи креста на Святой Софійи? Только страхъ своей географической беззащитности, только

боязнь пространства, государственная агорафобия толкали князей въ ихъ походахъ, которые, будучи лишены культурной мисси, превращались въ безцѣльное свирѣпое членовредительство. Привыкну у себя дома считать человѣческую личность врагомъ государственнаго единства, русская власть переносила этотъ взглядъ на завоеванныя области, гдѣ прежде всего она старалась оборвать между людьми всѣ живыя связи языка, школь, книгъ, собраній и союзовъ. Съ каждымъ новымъ завоеваніемъ сердце Россіи слабѣло, великорусскій центръ хирѣлъ, съ каждымъ завоеваніемъ на периферіи накапливалось все больше ненависти. И въ концѣ получилось то, что захирѣвшая въ сердцевины страна оказалась окруженной со всѣхъ сторонъ ненавидящими, мечтающими о мщеніи окраинами. Финляндцы, эсты, лифляндцы, поляки, грузины, армяне—цѣлое огненное кольцо вражды и мщенія.

Такимъ образомъ мы видимъ, что идея русской государственности заключалась въ умерщвленіи человѣческой личности у себя дома и въ покоренныхъ областяхъ во имя безыдейнаго, безсознательнаго географическаго единства. Трудно представить себѣ идею болѣе жалкую и безсилую. Русская государственность, въ своей географической беззащитности, защищалась своею свирѣпостью,—тѣмъ, что безцѣльно душила всякое проявленіе жизни личной, сословной, цѣховой, національной. Она нашла свое воплощеніе въ уродливо-зловѣщемъ образѣ Ивана Грознаго. Его грозность была сродни свирѣпости осьминога,—безумная, безцѣльная, умерщвляющая своей пустотой. Не вѣрьте историкамъ, видящимъ въ Иванѣ Грозномъ продуктъ вырожденія и аномалии. Тамъ, гдѣ государственность становится антитезой личности, аномалия и безуміе дѣлаются нормой жизни. Если мысль объ Иванѣ Грозномъ и теперь, на протяженіи вѣковъ, ледянитъ кровь и подни-

аетъ дыбомъ волосы, то именно потому, что мы сознаемъ нормальность и логичность его появленія и, глядя на его искаженныя безцѣльной свирѣпостью черты, мы говоримъ себѣ: вотъ какова идея русской государственности.

Однако, одно то, что идея русской государственности—кровожадна и антикультурна, не объясняетъ намъ смысла переживаемой нами революціи. Явленія жестокия и уродливыя могутъ быть также долговѣчны, какъ и прекрасныя, если только они по своему строенію внутренне устойчивы. Я уже сказалъ, что революція является только, какъ разрѣшеніе внутренняго противорѣчія. Чтобы понять необходимость и смыслъ теперешней революціи, нужно раскрыть противорѣчіе русской государственной идеи. Теоретически это противорѣчіе можетъ быть выражено такъ: государство, строящее свое географическое единство на гибели культурной личности, неминуемо должно придти къ географическому же разгрому и распаденію,—по той причинѣ, что съ усовершенствованіемъ оружія, военное могущество страны все болѣе и болѣе зависитъ отъ культурнаго развитія и самосознанія ея жителей. Практически противорѣчіе русской государственной идеи раскрывалось съ поражающей очевидностью во весь петербургскій періодъ нашей исторіи.

Если идея русской государственности заключалась только въ географическомъ единствѣ, то понятно, что исключительной заботой самодержавія была мысль о сильномъ вооруженіи, о могучей арміи. Но сила войска—величина производная и зависящая отъ многихъ факторовъ. При низкомъ уровнѣ культуры и техники центромъ военной силы является выносливость арміи, готовность каждаго отказаться отъ своей личности во имя цѣлаго. На такой стадіи развитія армія-полиппъ сильнѣе арміи, состоящей изъ самостоятельныхъ личностей. Но вотъ уровень культуры поднимается,

и вмѣстѣ съ ней совершенствуется военная техника. Индивидуальное личное самосознаніе становится и необходимымъ условіемъ военнаго могущества народа. Главнымъ образомъ потому, что только самоцѣльная личность творить. Народъ-полиппъ защищается, покоряетъ, умираетъ, но онъ не въ силахъ что-нибудь создать, не въ силахъ придумать не только новый типъ орудія или корабля, но и малѣйшій винтикъ измѣнить въ нихъ: для творческой работы у него нѣтъ органовъ. При развитіи техники, государству некультурному или антикультурному остается пользоваться творчествомъ чужой культуры, становясь въ непримиримое противорѣчіе съ своей внутренней политикой. Даже краснокожіе дикари при столкновениіи съ культурой не долго защищаются своими отравленными стрѣлами и томагавками. Вскорѣ они бываютъ вынуждены заимствовать вооружение у ненавистныхъ имъ бѣлыхъ, отстрѣливаться отъ культуры созданными культурой ружьями. Неужели частная побѣда такихъ дикарей означаетъ поражение культуры? Не знаменуетъ ли она, наоборотъ, побѣду культуры даже въ рукахъ дикарей? Однако, эти частныя побѣды не могутъ долго длиться: наступаетъ моментъ, когда техника достигла такой сложности и точности, что личное самосознаніе становится необходимымъ не только для творчества, но и для пользованія плодами чужаго творчества. Если краснокожіи могутъ стрѣлять изъ магазиннаго ружья, то уже со сложнымъ механизмомъ броненосца ему не справиться. Когда техника достигла такой высоты, участь антикультурной государственности безповоротнo рѣшена. Она обречена на смерть.

При московскихъ князьяхъ военная техника находилась въ младенчествѣ, и наша армія—полиппъ, въ которой солдатъ почти ничѣмъ не отличался отъ военачальника, могла считаться непобѣдимой. А имѣя такихъ защитниковъ, какъ русскіе

воины, власть какъ будто бы могла не страшиться никакой силы въ мірѣ; но она забывала, что все челоуѣчество—живой организмъ, что, если народъ въ своемъ подвижничествѣ согласился выпить такую чашу бѣшеноей отравы, какъ царствованіе Ивана Грознаго, то гдѣ-то тамъ, за предѣлами московскаго государства, живутъ и мыслятъ личности, создается культура, составляются чертежи, льются пушки, строятся корабли, и что каждый взмахъ творческой руки, каждое движеніе культурной мысли все глубже роетъ могилу, въ которую неминуемо, въ свой часъ, будетъ свалено все то, что было враждебно свободной личности и мысли.

Первымъ самодержцемъ, сознавшимъ необходимость перевооружить свое войско на культурный ладъ, былъ Петръ Великій. Разсматривая русскую исторію съ высоты ея государственной идеи, мы видимъ, что название „Преобразователя“ было дано Петру по недоразумѣнію. Если онъ и былъ реформаторомъ, то трагическимъ,—реформаторомъ по неволѣ. Сознательно же онъ мечталъ не о преобразованіи Россіи, а о ея перевооруженіи. Трагизмъ Петра заключается въ томъ, что, желая укрѣпить нашу государственность, онъ своими руками создалъ ея ахиллесову пятю—флотъ. Не культуру хотѣлъ онъ заимствовать у Европы, а у культуры хотѣлъ подслушать для своихъ государственныхъ цѣлей ея военные секреты. Поневолю, контрабандой для себя самага, привезъ онъ въ Россію сѣмена личнаго самосознанія, ибо всякое научное знаніе, всякое культурное дѣланіе, будучи создано личностью, въ свою очередь таитъ въ себѣ магію вызывать къ жизни и формировать личность. По основнымъ же чертамъ и характера и призванія Петръ былъ новымъ воплощеніемъ Ивана Грознаго: то же отождествленіе государственнаго единства съ властью государя, то же, если не большее, презрѣніе къ живой русской личности, къ ея достоинствамъ и свободамъ, то же пренебрежительное

отношеніе къ церкви, какъ къ своей службѣ, тоже врожденное палачество въ крови. Только Иванъ Грозный отличался цѣлостью и послѣдовательностью въ своемъ безуміи, между тѣмъ въ дѣятельности Петра уже была расколотовъ, внутренняя раздвоенность, которая, будучи непонятной народу, создала и въ его сознаніи расколъ и раздѣленіе.

Однако, на первыхъ порахъ случай благословилъ украденное у культуры оружіе. И такъ велико обаяніе силы, что въ побѣдахъ русской арміи при Петрѣ, Екатеринѣ, Александрѣ I долгое время видѣли торжество нашей государственной идеи, между тѣмъ какъ, на самомъ дѣлѣ, побѣждалъ только народъ, несмотря на негодность власти. Центр тяжести все еще находился въ стихійныхъ свойствахъ солдата. Въ послѣдній разъ стихія одержала побѣду надъ личностью въ 1812 году, и Толстой въ „Войнѣ и Мирѣ“, разгадавъ своимъ гениемъ внутреннюю сущность отечественной войны, все же находился подъ обаяніемъ случая и удачи. Но съ этого момента центр тяжести мѣняется; изъ стихійной храбрости онъ переносится въ культурное самосознаніе офицера и солдата. Когда въ слѣдующій разъ русскія войска и флотъ помѣрялись силами съ европейскими, народный героизмъ уже не могъ перевѣсить недостатковъ правительственнаго организма. Надъ Россіей разразился севастопольскій погромъ.

Въ сущности, всѣ элементы теперешней революціи были уже на лицо подъ Севастополемъ. Если же общество послѣ крымскаго погрома не ликвидировало старыи режимъ, а стало съ нимъ торговаться изъ-за реформъ, то это случилось по той же причинѣ, по которой вообще рѣдкій организмъ сваливается послѣ перваго апоплексическаго удара. Общество не было подготовлено къ совершившемуся событію, не поняло его. Печать еще не имѣла вліянія на массу. Къ тому же,

могло казаться, что мы были раздавлены численностью врага, что мы имѣли противъ себя коалицію всей Европы. Наконецъ, въ рукахъ власти былъ одинъ еще не сыгранный козырь,—реформа общей воинской повинности, новая попытка въ борьбѣ съ культурой воспользоваться созданнымъ культурой оружіемъ. Ибо всѣ реформы шестидесятихъ годовъ, какъ и преобразованія Петра Великаго, имѣли единственной цѣлью перевооруженіе войска. Освобожденіе крестьянъ было лишь однимъ изъ условій всеобщей воинской повинности, ибо не могли же стоять подъ однимъ знаменемъ господинъ и его рабъ.

Но времена исполнились. На поляхъ Манджурии и въ водахъ Цусимы русскую государственность поразилъ второй апоплексическій ударъ. Сила удара подчеркивается тѣмъ, что онъ нанесенъ не коалиціей европейскихъ народовъ, даже не культурнымъ народомъ, а такими же учениками европейской культуры, какъ мы сами, но учениками искренними, островитянами, не испуганными пространствомъ, возведшими въ культъ уваженіе къ личности, личную инициативу, даже личную чистоплотность.

Японская война еще въ большей мѣрѣ, чѣмъ крымская, была откровеніемъ въ томъ смыслѣ, что она открыла не тотъ или другой недостатокъ правительственнаго механизма, а вскрыла всю лживость нашей географической государственной идеи, разбила ее, какъ мыльный пузырь. Японская кампанія не была ни безуміемъ, ни рискованіемъ всѣхъ прочихъ нашихъ походовъ и завоеваній. То же презрительное отношеніе къ чужому народу, то же полное невѣжество насчетъ окружающей жизни, то же слѣпое блужданіе впередъ въ открытое пространство въ поискахъ непременнаго границъ. Только на этотъ разъ русская государственность наткнулась на культурное государство и на культурный флотъ и потерпѣла крушеніе. Сти-

хійный элементъ арміи, солдатъ, по прежнему остался самоотверженнымъ и непреклоннымъ. Но все причастное власти, требовавшее знанія, инициативы, оказалось заглохшимъ, мертвымъ, разложившимся. Понятно, почему разложение рѣзче всего обнаружилось во флотѣ, въ этомъ созданіи культуры, почти чуждомъ стихійности. Вторичный ударъ нашей государственности, наконецъ, открылъ глаза народу на его вѣковое заблужденіе. На ряду со свѣжими могилами безцѣльно погубленныхъ арміей на поляхъ Манджуріи разверзлись тысячи тысячъ другихъ могилъ, старинныхъ, давно забытыхъ, и несчетныя жертвы, похороненныя въ нихъ, какъ бы ожили и, проклиная, требовали отвѣта. „Мы отрекались отъ своихъ человѣческихъ правъ“, вопіяли они, „мы были рабами холоповъ, гибли отъ насилія и вымогательствъ, и все это мы переносили безропотно, вѣря, что наши муки нужны для могущества единой Россіи. Но если власть вела Россію къ поражению и погрому, то во имя чего страдали мы? И когда этотъ вопль обошелъ всю русскую землю, родилась на свѣтъ русская революція.

Три признака, неся на себѣ печать ея общей идеи, отличаютъ русскую революцію отъ подобныхъ европейскихъ движеній:

Во-первыхъ, ея универсальность, всесловность или, вѣрнѣе, внѣсловность. Не одно сословіе борется съ другимъ изъ-за власти, какъ это было во Франціи, но всѣ сословія борются съ властью во имя правъ личности. Въ Россіи нѣтъ теперь ни одного класса или группы людей, интересы которыхъ были бы солидарны со старымъ режимомъ. Консервативные элементы общества, націоналисты, даже шовинисты—всѣ они имѣютъ столько же причинъ отвергать этотъ режимъ, какъ и радикальные элементы, ибо онъ оказался палачемъ не только гражданской свободы, но и національнаго достоинства Россіи. Исключеніе составляютъ только

слуги прежняго режима. Имъ или совсѣмъ нѣтъ дѣла до судьбы Россіи, или они въ своемъ ослѣпленіи ждутъ третьяго удара нашей государственности, новаго столкновенія съ культурой, новаго пораженія, которое кончилось бы не чѣмъ инымъ, какъ раздѣломъ Россіи. Конечно, тогда опытъ доведенъ былъ бы до конца и противорѣчіе режима, имѣвшаго своей цѣлью географическое единство Россіи и приведшаго къ ея географическому раздѣлу, обнаружилось бы съ еще большей яркостью, чѣмъ теперь. Но Россія слишкомъ хорошо теперь понимаетъ свою судьбу, чтобы на минуту сомнѣваться въ подобномъ исходѣ, и предпочитаетъ обойтись безъ послѣдняго эксперимента.

Вторая черта русской революціи—ея антипатріотичность, антинаціональность. Девизъ ея—не только свобода гражданъ, но и автономія народовъ.

Антипатріотичность революціи, конечно, не означаетъ, что русскіе революціонеры не достаточно привязаны къ своей родинѣ, или не любятъ своего народа. Иностранцы, пишущіе теперь много о насъ, удивляются чрезмѣрности нашихъ требованій, нашей будто бы непрактичности. Они не видятъ что, въ сущности, наши требованія примитивны и скромны. Мы хотимъ вернуть личности отнятое у нея человѣческое достоинство, но для достижения этой скромной цѣли мы должны перевернуть небо и землю русской дѣйствительности. Кошмаръ русскаго государства, отсутствіе естественныхъ границъ, можетъ быть устраненъ только тогда, когда народы, входящіе въ составъ русской территоріи, добровольно сольются съ Россіей въ органическое единство. Попытка какой-либо народности воспользоваться ослабленіемъ власти и порвать всякую связь съ Россіей была бы пагубна для интересовъ революціи. Для того, чтобы подобная попытка была невозможной, революція и стала насквозь антинаціональной и антипатріотичной. Эта антипатріотичность—залогъ высшаго

патріотизма. Автономія поляка, финна, армянина не менше дорога русскому революціонеру, чѣмъ его собственная свобода. Оттого полякамъ, финнамъ, армянамъ выгоднѣе слиться со свободной Россіей, нежели образовать отдѣльныя государственныя единицы, взаимно угрожающія другъ другу.

Третья черта русской революціи—ея безусловность. Россія не требуетъ у стараго режима ни реформъ, ни преобразованій, ни свободъ, а жаждетъ свободы отъ этого режима.

Только тогда, когда и съ отдѣльной личности, и съ народностей, входящихъ въ составъ Россіи, будетъ снята мертвая рука нашей прежней государственности,—только тогда будетъ достигнута отрицательная, разрушительная цѣль русской революціи.

Но можетъ ли русская революція довольствоваться одной разрушительной дѣятельностью? Нѣтъ ли у нея творческой миссіи, также вытекающей изъ основной идеи нашей революціи. Конечно,—есть, и я въ общихъ чертахъ хочу указать на нее, сознавая всю трудность и отвѣтственность своей задачи.

*Н. Минскій.*

*(Продолженіе будетъ).*